

*Владимир Булдаков*

**Ещё раз о судьбе «успешной» империи\***

*Vladimir Buldakov*

*(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)*

**Once again about the fate of the «successful» empire**

DOI: 10.31857/S0869568722010204

Вопреки названию, рецензируемую работу вряд ли можно назвать коллективной монографией: это, скорее, собрание очерков, причём далеко не однозначных по выводам. Книга основана на материалах международной конференции, состоявшейся в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2017 г. и посвящённой состоянию Российской империи в период между 1905 и 1917 гг. Добавлено также несколько новых текстов. Что особенно интересно, приводится стенограмма возникших дискуссий.

Получилась интересная и поучительная работа. Это своего рода эксперимент, пусть несколько запоздалый. Редакторы издания отталкиваются от представления, что историография дореволюционной России неоправданно телеологична — исследователи вольно или невольно подстраивают «нормальный» исторический процесс к его катастрофической развязке. Эту тенденцию следует преодолеть, учитывая «потенциально возможные траектории развития». Исходя из этого, авторы объявили себя «ревизионистами», опровергающими представление о неуклонном падении производства и ухудшавшемся материальном положении населения России в указанный период. Отсюда — призыв «забыть»

о революции, сосредоточившись на прерванных ею тенденциях (с. 6–7).

Действительно, почему бы нет, если для этого достаточно отечественной статистики — такой её ведомственной полноты и в Германии не снилось! Однако сразу отмечу: эксперимент оказался неудачным. Нечто подобное уже предпринималось, причём с «клиотерапевтической» целью. Известный социолог Б.Н. Миронов взялся убеждать: если в предреволюционной России благосостояние населения — согласно усреднённой статистике — росло, то революции не должно было быть. Отсюда вывод: виновата революция! Видимо, неслучайно авторы книги постоянно упоминают Миронова (который доклада не представил, но в дискуссии участвовал).

Замысел книги очевиден. Сомнения относительно «непредсказуемого» прошлого генерирует вопрос о «матрице» новейшей истории России: эволюционный процесс или...? Как на него ответить, если исход процесса известен вопреки тому, что история, как и всё связанное с природой человека, по определению альтернативна? Выход давно предложен: исследователь обязан «преодолеть» документальный материал, избегая использования его в иллюстративных целях. Однако чело-

\* Российская империя между реформами и революциями, 1906–1916. Коллективная монография / Под ред. А.И. Миллера и К.А. Соловьёва. М.: Квадрига, 2021. 792 с.

веческое сознание не склонно следовать гносеологическим предписаниям.

Известно, что подавляющая часть российского документального наследия исходит от государства или систематизируется властью предрержащими и культурными элитами. Этим подспудно навязывается определённый познавательный дискурс: история видится только «сверху», а исследователь упорно изыскивает первопричины случившегося «в верхах». Пространство российской истории до сих пор не случайно заужено пространством власти (взявшей в своё время на вооружение марксизм, точнее его экономико-детерминистическое подобие). Документальная база *in corpore* словно нашёптывает: власть могущественна и потому всегда права. Отсюда и поиски благостных альтернатив, а в определённых случаях — и «злоумышленников», якобы лишивших Россию её «великой» судьбы. К этому имплицитно склоняются многие историки, включая авторов, известных документальной дотошностью. Между тем узкий специалист имеет обыкновение «прилипать» не только к документам, но и к ментальности исследуемого времени. Хуже всего, если она окажется чиновничьей.

Впрочем, обратимся к текстам, наиболее примечательным в контексте проблематики предпосылок революции.

Прочтение очерка К.А. Соловьёва, открывающего первый раздел книги «Политическая сфера», порождает чувство недоумения. С одной стороны, автор признаёт, что «история Российской империи последнего её десятилетия — это история кризисов разной степени остроты и глубины», что можно считать «явным признаком болезни системы, которая уверенной поступью шла к своему концу». С другой стороны, если мысленно отвлечься от событий 1917 г., то «ситуация не будет

казаться столь однозначной» (с. 71): ветви власти «перестроились» (с. 61) и вроде бы «притёрлись» друг к другу. Хотелось бы спросить: увеличивалась амплитуда кризисов к началу 1917 г. или, напротив, затухала? Между прочим, из текста последующего очерка Соловьёва «Правительство и избирательные кампании в Государственную думу» следует, что система изнутри была лживой: неслучайно подтасовками выборов в IV Думу особенно активно занимались губернаторы Н.А. Маклаков и А.Н. Хвостов — будущие министры внутренних дел (с. 77–78). А в целом избирательная кампания показала, что произошло укрепление левого крыла и ослабление центра при «радикализации настроений в его среде». В общем, «выпустив джинна из бутылки, правительство его больше не контролировало» (с. 99). Возникает вопрос: могла ли политическая система перестроиться настолько, чтобы выдать мысль о революции из общественного сознания?

Куда большее впечатление на меня произвёл другой текст Соловьёва. В конце 1916 г. император то и дело рыдал порой на плече своего дяди Николая Николаевича, порой члена Государственного совета П.М. Кауфмана от сознания безвыходности положения<sup>1</sup>. Плаксивый повелитель  $\frac{1}{6}$  суши — могло ли его правление быть успешным? Если самодержец чувствует свою обречённость, то чего ждать от окостеневшей авторитарной системы?

Слов нет: планомерное развитие предпочтительнее возможных потрясений. Возможно, в связи с этим в дискуссии Соловьёв, с одной стороны, отметил, что «конституция была навязчивой идеей российской общественности с начала XIX в.» (с. 764), с другой — настаивал, что после 1905 г. «монархия была конституционной, правда без конституции». К этому добавлено: «Конституция — это прежде

всего неписанные правила игры». Увы, политики этих «правил» не принимали (с. 724). А принимал ли монарх? Вряд ли. Так стоит ли судить об истории по тем этикеткам, которые лепят на неё схоласты от правовередения и повторяют сервильные граждане?

Очерк Ф.А. Гайды о либеральных партиях и общественных организациях также не лишён нестыковок. Автор пишет, что «к середине 1916 г. промышленность России, наконец, в целом была приведена в соответствие с потребностями военного времени», но тут же добавляет: «Но военные усилия в данной ситуации приводили лишь к дальнейшему усугублению кризисной социально-экономической ситуации» (с. 136). При этом и партии, и общественные организации нервничали: надо ли готовиться к революции? Ещё перед войной газетчики намекали: «Стоит ли ломать головы над политическими проблемами, когда выдвинулись экономические аксиомы?» (с. 118), однако, несмотря на это, либералы избрали неверный путь. В результате, отвергнув соглашение с правительством, они не приобрели поддержки низов (с. 138). Характерно в связи с этим отношение автора к «концепции заговора»: оказывается, появилась «пятёрка» (А.И. Гучков, М.И. Терещенко, Н.В. Некрасов, А.И. Коновалов и А.Ф. Керенский), которая установила постоянные контакты с социалистическими группами столицы и даже пыталась вести переговоры с войсками. Автор отвергает «масонскую тему», однако полагает, что либералы готовились сделать выбор в пользу «улицы» и, вопреки утверждениям советских историков, вовсе не страдали «властобоязнью» (с. 139–141). Сомнительно! В годы войны либералы пребывали в состоянии нервной неопределённости, что сказалась на их последующем поведении. Когда в начале апреля 1917 г. П.Н. Милюков пригла-

сил товарищей по партии в министерские апартаменты, они почувствовали себя так, словно «по ошибке попали в ненадлежащее место» и «невольно спрашивали друг друга — надолго ли это?»<sup>2</sup>. Как ни крути, интеллигенция, расслабленная существованием внутри полицейско-патерналистской государственности, психологически не могла удержаться у власти.

Видимо, не случайно за текстами Соловьёва и Гайды следует очерк А.А. Иванова, который отмечает, что к февралю 1917 г. правым партиям «удалось с большой прогностической точностью предсказать как своё поражение, так и печальный итог деятельности либеральной оппозиции» (с. 170). Тем не менее автор заявляет, что «правые партии стали порождением российской модернизации и демократизации», даже часть черносотенного лагеря «постепенно втягивалась в модернизационные процессы» (с. 173). Звучит неожиданно. Вероятно, ради «симметрии» рядом с этим текстом оказался очерк П.Ю. Савельева (в конференции не участвовал) о социалистических партиях. Он примечателен признанием того, что по популярности в рабочей среде большевики перед войной превзошли меньшевиков (с. 201–202). В общем, говорить о перспективах как «окультуренного» черносотенства, так и эволюционного социализма вряд ли стоило.

А.С. Туманова (в конференции также не участвовала) в очерке о «публичном пространстве России» взялась проиллюстрировать мнение Ю. Хабермаса о том, что распространение газет и журналов ведёт к появлению у общественности претензий на участие в политической жизни и управлении (с. 224). О том, что культурное пространство было перенасыщено ядом взаимного недовольства, разумеется, ничего не говорится. Спрашивается, сколько можно вычерчивать прошлое

по иноземным лекалам на основе «бездушной» статистики, фиксирующей чисто внешние — часто откровенно «показушные» — проявления?

В отличие от Тумановой А.А. Тесля в очерке об «автономизации» интеллектуальной жизни обращает внимание на распадение культурных трендов на «пассеизм» (обозначившийся, между прочим, ещё в «Мире искусства») и «футуризм» (с. 238–239). Примечательно и указание автора на уникальность большевизма — единственной партии, сумевшей добиться интеллектуального единства своих рядов (с. 248).

Во втором разделе («Национальный вопрос») довольно нестандартный подход предложил А.И. Миллер, который, вслед за западными авторами, считает, что XIX в. — век не наций-государств, а империй и национализмов (с. 250). При этом он отмечает «национальное безразличие», т.е. индифферентное отношение низов к националистической мобилизации. Но почему не предположить, что именно «национальное безразличие», а не активизм является «нормой» существования малых этносов внутри империй? Впрочем, похоже, что феномен «национального безразличия» понадобился Миллеру лишь для подтверждения правоты мнения П.Н. Дурново: в случае войны социальная революция будет для империи опаснее национальных сепаратизмов (с. 266). При этом автор полагает, что в годы войны крайний национализм вызывался прежде всего внешним влиянием (с. 268–269). В связи с этим вызывает недоумение утверждение, что уже в 1915 г. Петрограду пришлось сделать «ряд символических уступок украинскому движению» (с. 269). Кто их заметил? Между тем известно, что национализм, в силу своей эмоционально-инстинктивной (а не рациональной) первоосновы, бывает болезненно сопряжён с кризис-

ным состоянием имперского организма (о чём пишет и сам автор).

Вообще межэтнические отношения — нечто большее, нежели противостояние имперского центра и национальных лидеров. Как видно из очерка Ф.Б. Шенка, посвящённого роли железнодорожного строительства для судеб империи, сама по себе мобильность населения вызывала подозрительное отношение к инокультурным общностям, особенно евреям (с. 634–635). Как можно было минимизировать результаты неизбежного «столкновения цивилизаций» внутри империи?

Из очерка Т.И. Хрипаченко о либеральных проектах децентрализации России на земской основе следует, что внятной альтернативы государственной политике, с одной стороны, и проектам лидеров национальных движений — с другой, у либералов не нашлось (с. 299–300). Этот вывод подтверждается весьма оригинальным исследованием Д. Сталюнаса об «этнической иерархии», существовавшей в представлениях российских бюрократов. В связи с модернизацией имперского социокультурного пространства обнаружилась тенденция к «территориализации этничности», адекватно отреагировать на которую российские бюрократы не смогли (с. 316–317). Получается, что тенденция к национальной консолидации в рамках определённых локусов стала объективным фактором общественного развития. Отсюда можно допустить, что «национальное безразличие» в критических обстоятельствах сменится противоположной тенденцией, чем непременно воспользуются национальные лидеры.

Конечно, особый интерес вызывает состояние российских вооружённых сил, чему посвящён третий раздел. В.В. Лапин неслучайно задался вопросом: «Был ли развал вооружённых сил империи в 1917 г. заложен в предре-

волюционные годы»? По его мнению, нет: армия и военная экономика России лишь испытывала общие для европейских стран трудности. Но более впечатляет конечный вывод: «В начале XX в. выявилась невозможность уравнивать шансы империи Романовых в столкновении с Германией с помощью исключительно технических способов и “выборочного заимствования”, пустившего в России прочные корни», причём в наибольшей степени в преобразованиях оказалась заинтересована «наиболее консервативная часть элиты» (с. 347–348). Что имеется в виду? Заявление В.А. Сухомлинова в 1911 г., что «идёт деятельная работа по обеспечению армии новейшими орудиями крупных калибров, управляемыми аэростатами, аэропланами, автомобилями, прожекторами и прочими сложными техническими средствами»<sup>3</sup>? Впрочем, в ходе дискуссии Лапин признал, что в существующей литературе едва ли не всё сомнительно: и готовность России к войне в военно-техническом отношении, и нехватка снарядов, и бездарность генералитета, и острота международных отношений. Очевидно другое: «Когда крестьянин решил, что это не его война, с ним уже ничего сделать было невозможно» (с. 759–760). Такой — далёкий от привычных научных умствований — вывод, действительно, многого стоит.

Со своей стороны, Дж. Санборн не скрывает восторга перед «малыми реформами», задуманными армейским «технократами». Однако более впечатляет его конечное замечание: «Невозможно отрицать, что военные реформы “провалились” в том смысле, что они не смогли немедленно превратить российских призывников в преданных воинов с высокой моралью» (с. 361). А из книги историка явствует, что на протяжении всей войны армия так и не избавилась от былых проблем:

«За кулисами военных событий Российская империя закладывала основы своего будущего крушения»<sup>4</sup>. Оказывается, политика военных властей вызвала особое недовольство окраинных народов.

Представляется, что в связи с инерционностью российского социокультурного пространства реформы должны были носить упреждающий, а не «догоняющий» характер. Способна ли к этому царская бюрократия? Из текста К.А. Тарасова, взявшегося проанализировать перспективы создания солдата-гражданина на примере петроградского гарнизона в начале 1917 г., следует, что «системные проблемы довоенного периода невозможно было изменить в короткий срок» (с. 389–390). Если так, то стоит ли безоговорочно восторгаться предвоенным реформаторством?

Удивляют восторги Лапина (а вслед за ним и Санборна) по поводу Брусиловского прорыва. Известно, что, хотя наступление 8-й армии на Луцк готовилось восемь месяцев, дело ограничилось именно *прорывом*, при этом потери оказались громадными, а стратегического перелома добиться не удалось. Сервильный (по отношению к любой власти) А.А. Брусилов — антипод А.В. Суворова, стремившегося побеждать «не числом, а умением». И почему не предположить, что Брусилов оказался выдвинут на общественно востребованную роль «героя» заодно с К. Крючковым, подобно тому, как на роли «предателей» «назначили» С.Н. Мясоедова и В.А. Сухомлинова? Людское воображение требовало понятных символов, пропаганда его старалась удовлетворить<sup>5</sup>. Однако история (в той мере, в какой она остаётся наукой) не может зависеть ни от общественной наивности, ни от пропагандистских практик.

Наибольшее внимание в книге уделено новым веяниям в области науки, техники, экономики (раздел IV).

Обширный очерк М.А. Давыдова — своего рода статистический монумент столыпинским аграрным преобразованиям. Однако автор не упоминает об их побочных результатах (рост напряжённости в массе крестьян, связанной с конфликтами между выделенцами и общинниками, «обратными» переселенцами и т.п.). Зато следует «оптимистичный» вывод: «Значительный подъём сельского хозяйства не закончился и в годы войны», причём это был «длительный и прочный процесс» (с. 427, 437). Спрашивается, а откуда взялась «общинная революция»<sup>6</sup>, фактически похоронившая аграрную реформу? Впрочем, в дискуссии Давыдов связал неудачи реформаторства с тем, что «даже после Витте Россия не стала страной свободного предпринимательства» (с. 755).

В отличие от Давыдова Л.И. Бородкин предельно осторожен в выводах применительно к промышленному развитию и положению рабочих в 1906—1916 гг. Вслед за рядом авторов он постарался показать, что доля Российской империи в мировом ВВП заметно выше, чем принято считать — 8,5% (с. 459). Мало того, на протяжении военных лет прирост производства металлообрабатывающей отрасли и промышленного оборудования заметно выделялся на фоне средних цифр прироста всей промышленности (с. 460—461). Стоит, однако, напомнить: российская промышленность потребностей армии в вооружениях удовлетворить не смогла: за границей пришлось закупить около половины требуемых винтовок, не говоря уже об автомобилях, самолётах и тяжёлых орудиях.

С уровнем жизни рабочих положение сложнее. Современники, несомненно, драматизировали ситуацию (с. 470). Зарплата росла, причём именно в оборонной промышленности. Однако её скачки взвинчивали товарные цены, доходы «съедались» дороговиз-

ной и инфляцией, растущий дефицит делал денежные накопления бесполезными. В это время потребление «товаров и невоенных услуг» снизилось на 8,2%, продуктов сельского хозяйства — на 20,8% (с. 466). В среднем это немного. Однако в наибольшей степени страдало население крупных городов (с. 470—472). В итоге Бородкин выразил несогласие с Мироновым в том, что до революции «всё было радужно» (с. 753).

Лично меня в дискуссии особенно привлекли реплики Бородкина. Известно, что активнее всего в России бастовали рабочие-металлисты, получавшие самую высокую заработную плату. Правда, в военные годы администрация казённых заводов, в отличие от владельцев частных предприятий, не успевала своевременно её повышать (с. 702). Тем не менее в рабочей среде в 1916 г. распространилось убеждение, что предприятия, на которых упорно бастуют, будут переходить в управление государства, а оклад возрастёт<sup>7</sup>. Вероятно, причину недовольства не следует связывать с «обнищанием по Марксу». По сравнению с японским рабочим, отмечает Бородкин, русский пролетарий обнаруживал необъяснимую склонность к бунтарству (с. 703). Представляется, что на готовности рабочих бастовать сказывались и степень доверия к власти и хозяину, и уровень социализации, и «порог терпения», и многие другие социопсихологические факторы, никак не улавливаемые статистикой. Не случайно по ходу дискуссии учёному пришлось сделать принципиально важное пояснение: «В неустойчивом, хаотизированном состоянии сложных систем теряются причинно-следственные связи» (с. 754). Я бы добавил: а также становятся бесполезными привычные формально-логические зависимости, которыми упорно оперируют историки, опирающиеся на «среднестатистические» данные.

Что же в таком случае предопределило революционные взрывы? Очевидно, всякая сложноорганизованная система имеет свой порог устойчивости, который «запрятан» в её внутреннем — человеческом — наполнении. Однако большинство авторов книги словно не ведают о российской «культуре взрыва» (Ю.М. Лотман). Я уже не говорю об «информационной революции» вкупе с «ювенализацией» населения, которые привели к разрывам «тела» империи по самым различным параметрам<sup>8</sup>.

Темпы развития экономики не гарантируют устойчивого существования государства. Характерные примеры приводит П.А. Кюнг: в довоенное время внедрение новых технологий на казённых заводах дезорганизовывало производство (с. 597). Всё дело в гуманитарной органичности хозяйственного развития, поддерживаемого на государственном уровне. В годы войны предприниматели «патриотично» переключались на низкотехнологичное производство снарядов. В результате Коломенский завод в начале 1916 г. прекратил производство дизелей для подводных лодок, другие предприятия снизили выпуск столь необходимых паровозов и вагонов<sup>9</sup>. Тем временем «перепроизводство» снарядов грозило приостановкой работы соответствующих предприятий (с. 604). Однако некоторые авторы вслед за Мироновым словно пытаются убедить самих себя, что «непосредственный кризис начался после февраля 1917 г. и был связан с падением производственной дисциплины и инфляцией» (с. 621). Но неужели не ясно, что иной человеческой реакции на безнадёжность прежнего существования быть не могло?

На мой взгляд, следовало бы не вдохновляться предреволюционным состоянием экономики «в целом», а задуматься над последствиями угасания её гражданского сектора. Казавшаяся

бесцельной война угрожала с трудом достигнутому уровню жизни, делая бесполезными заработанные деньги. Городское население, разбухшее за счёт временных мигрантов (солдат, раненых, беженцев, военнопленных), оказалось под угрозой тотального дефицита. В таких условиях достаточно нескольких полугодичных дней, чтобы власть повисла на волоске людского недовольства.

Всякие перекосы в «недоразвитой» экономике чреватые серьёзными социальными последствиями. Шенк пришёл к выводу, что «железные дороги — прежде мощный инструмент имперского правления — превратились в оружие его соперников» (с. 642). Не следует ли задуматься о непредсказуемо негативном влиянии всяких новшеств на «застойную» империю?

Согласно Д.Л. Сапрыкину, в 1909—1914 гг. наступил «золотой век» российских инноваций. Да, здесь есть чем гордиться, техническое развитие российской промышленности нельзя сводить к «трансферу технологий» с Запада (с. 562). Никто не отрицает выдающихся достижений России в области культуры, науки и даже техники. Иначе и быть не могло: творческая энергия — этот источник всякой культуры — слишком долго находилась под спудом самоохранительной системы. Поэтому и сделались возможными выдающиеся достижения одиночек, отнюдь не пестовавшихся государством и вовсе не вдохновляемых уважением коллег. Хочется в связи с этим спросить: возможен ли был в России такой культ науки, как в Германии? Е.А. Ростовец заключает, что «старый дореволюционный университет не был готов к эволюции в направлении массового университета, сама идея “прикладных специалистов”, ориентированных на “заказ”, категорически отметалась» (с. 688). Стоит также напомнить, что только в связи с войной

В.И. Вернадскому удалось развернуть российскую науку в сторону использования естественных природных ресурсов. Даже в сугубо прикладной, казалось бы, области, как отмечает А.В. Мазаник, возникла нестыковка: несмотря на «блестящее развитие фундаментальной медицины», общий уровень здоровья населения оставался низким (с. 666).

Наиболее сложна в современной историографии ситуация с оценкой финансовой системы. Как отмечает С.А. Саломатина, «к 1914 г. в России сложилась полноценная для своего времени рыночная банковская система. Однако в условиях последующей инфляции и роста депозитов у неё становилось всё меньше возможностей зарабатывать, чтобы выплачивать проценты по этим депозитам. В результате прежние банковские практики уступали место обслуживанию военных потребностей государства и разного рода спекуляциям, которые негативно сказывались на восприятии банковского сектора в обществе» (с. 564). Тем не менее финансы «прекрасно адаптировались» к войне» (с. 753). А как оценить реакцию на это населения, имея в виду предреволюционный «биржевой ажиотаж», с одной стороны, и бесполезное оседание денег в крестьянских кувалдах (или сберкассах) — с другой?

Как и следовало ожидать, картина предреволюционного состояния России получилась противоречивой. Из этого следует, что конструирование «светлого» эволюционного прошлого, не поколебленного даже военными испытаниями, вряд породит нечто конструктивное — разумеется, кроме попытки убажить почитателей «стабильности». Историк обречён «пророчествовать наоборот» — скорее заниматься изучением «трещин» в теле империи, нежели не замечать или даже замазывать их. Зачем возрождать спе-

кулятивные соблазны на историографическом уровне, предаваясь мнемонической маниловщине?

Создаётся впечатление, что авторы идут от бюрократического недоумения: всего в России в избытке, но всё как-то ненадёжно. Однако известна и другая особенность империи. Как было подмечено её военными противниками, это страна, где «всё есть и ничего нет». Действительно, имелось в России в военные годы продовольствие, но люди его «недополучали». Были и деньги, но они «не работали» — на дело их не хватало. В общем, оснований для бесконечной спекуляции на основе былых иллюзий предостаточно. Отсюда и серьёзно-недоверчивое отношение к «оптимистическому» сочинительству, вдохновляющее всевозможных конспирологов. Неслучайно в ходе дискуссии задаваемые Миронову вопросы носили довольно ехидный характер. Внятных ответов на них не нашлось (с. 707–710). Спрашивается, стоило ли серьёзным исследователям вообще упоминать автора, который довёл использование принципов экономического детерминизма до абсурда? Так, Миронов утверждает, что русские солдаты «любили ходить босиком, потому что для них это было привычнее и удобнее», однако в литературе «иногда это трактовалось как признак нехватки обуви» (с. 718). Комментарии, как говорится, излишни.

В историографии складывается поразительная картина: прекрасные специалисты в своей узкой области демонстрируют туманное представление о том, что находится за её пределами. Отсюда удивительное простодушие в понимании российской кризисности. Историки исследуют экономику «в целом», не обращая должного внимания на то, что в годы войны казённая промышленность, перефразируя В.О. Ключевского, «пухла», а частный сектор «хирел». Относительно финан-



сов можно сказать то же самое: коммерческие и депозитные структуры взаимоотношались, при этом первые всё основательнее обслуживали государство и военно-инфляционные концерны, тогда как во вторых мёртвым грузом оседали трудовые накопления. Представляя динамику ВВП военного времени, исследователи, по существу, показывают лишь *производственные* возможности общества, минуя его человеческий мотивационный потенциал. В совокупности усилия этих авторов рисуют картину благотворного влияния военных условий на хозяйственное развитие страны, не замечая тотальной дегуманизации народного хозяйства: «распределяющая» экономика высасывала из народа все соки.

Глядя на творческие усилия отдельных авторов, не знаешь, то ли восторгаться глубиной их проникновения в недра темы, то ли сокрушаться по поводу того, что из вырытой ими шахты знания они не в силах охватить горизонты исторического пространства. И почему они упорно не упоминают своих оппонентов? Стоит ли вообще создавать *if-history* («предположительную» историю) на основе ведомственной статистики, обслуживавшей отдельные секторы народного хозяйства? Неустанно повторяется тезис об отсутствии экономических предпосылок революции. Такое «честное недоумение» привлекает. Но способен ли структурно-функциональный анализ выявить опасности, подстерегающие систему? Может быть, власть находилась в гармонии с собственной духовной основой в лице Православной Российской Церкви? Но не стоит забывать: именно в рассматриваемый период А.А. Блок стал писать своё «Возмездие».

Похоже, что сами авторы ощущают тупиковость избранного дискурса. Ростовцев, ожидавший ответа на традиционный вопрос «кто виноват?», остался разочарован: «В рамках нашей

дискуссии не виноватой у нас оказывается власть, которая выстраивала псевдоконституционную монархию», «не виноватыми оказываются правые партии», «и экономика развивалась успешно, и армия развивалась, в целом шла системная социально-экономическая модернизация страны». Виноватыми оказываются лишь те, «кто возглавил эту революцию, а именно — либералы, интеллигенция». По его мнению, участники конференции, вслед за властью, проглядели «симптомы нарастающего кризиса». Тем ли вообще они занимались, забыв и про дело М. Бейлиса, и про Г. Распутина, и про «закрытую конструкцию власти, за которую держалось самодержавие» (с. 764)?

Со своей стороны, Саломатина отметила, что с точки зрения экономической истории предреволюционной России выстраивается «линия о великодушных успехах». В результате «получился некоторый перекосяк: в 1913 г. хорошо, а в 1916-м ещё лучше». Итог оказывается странным: с экономической точки зрения, «нет разницы между войной и миром... лучший способ повысить ВВП — это начать войну» (с. 753). Ещё более скептически высказался К.Н. Морозов. По его мнению, и царский, и советский режимы «потому так стремительно и рухнули, что на их защиту практически никто не встал, что они уже были живыми трупами, они... постепенно умирали в головах людей». Царская власть «не умела ответить на вызовы эпохи. И это куда важнее и судьбоноснее, чем все экономические успехи вместе взятые» (с. 752, 763).

Что касается претензий авторов на «ревизию» советско-марксистских представлений, то хочу заметить, что на моей памяти «марксистские» авторы только и делали, что доказывали, что Россия по объёму производства занимала пятое место в мире, а по ча-

сти «самого передового финансового капитала» и промышленных монополий едва ли не опережала империалистических конкурентов. Считалось, что это и есть «предпосылки социализма». Правда, скоро пришлось говорить уже не о социалистических перспективах, а о финансовых достижениях России<sup>10</sup>.

Приходится признать, что даже лучшим исследователям предреволюционной России не удавалось и не удаётся состыковать устаревшие теоретические подходы с сомнительными эмпирическими данными. Остаётся надеяться, что рецензируемая работа покажет, что не стоит состязаться с теньями прошлого.

### Примечания

<sup>1</sup> *Соловьёв К.А.* Власть и общество: сотрудничество и конфронтация // Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис. М., 2014. С. 709.

<sup>2</sup> Наследие Ариадны Владимировны Тырковой. Дневники. Письма. М., 2012. С. 181.

<sup>3</sup> Цит. по: *Зайончковский П.А.* Высшее военное управление. Император и царствующий дом // П.А. Зайончковский (1904–1983 гг.). Статьи, публикации и воспоминания о нём. М., 1998. С. 86.

<sup>4</sup> *Санборн Дж.* Великая война и деколонизация Российской империи. СПб., 2021. С. 106.

<sup>5</sup> *Нелинович С.Г.* Брусиловский прорыв как объект мифологии // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998. С. 632–634.

<sup>6</sup> См.: *Люкшин Д.И.* Вторая русская смута: крестьянское измерение. М., 2006.

<sup>7</sup> *Поликарпов В.В.* Русский рабочий вопрос весной 1916 года // Россия в XIX–XX вв. СПб., 1998. С. 290–291.

<sup>8</sup> См.: *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию. Россия, 1914–1917 гг. М., 2015. С. 10, 65, 177; *Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г.* 1917 год. Элиты и толпы: культурные ландшафты русской революции. М., 2017. С. 25, 35.

<sup>9</sup> *Маевский И.В.* Экономика русской промышленности в условиях Первой мировой войны. М., 1957. С. 51.

<sup>10</sup> Ср.: *Бовыкин В.И.* Россия накануне великих свершений. К изучению социально-экономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1988; *Бовыкин В.И.* Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М., 2001.